

## СТИХОТВОРЕНИЯ ВЛАДИМИРА БЕНЕДИКТОВА

СПБ, 1835.

Обманчивей и снов надежды,  
Что слава? Шопот ли чтеца?  
Гоненье ль низкого невежды?  
Иль восхищение глупца?

Пушкин.<sup>110</sup>

Что такое критика? оценка художественного произведения. При каких условиях возможна эта оценка, или, лучше сказать, на каких законах должна она основываться? На законах изящного, отвечают записные ученые. Но где кодекс этих законов? Кем он издан, кем утвержден и кем принят? Укажите мне на этот свод законов изящного, на это уложение искусства, которого начала были бы вечны и незыблемы, как начала творчества в душе человеческой; которого параграфы подходили бы под все возможные случаи и представляли бы собою стройную систему законодательства, обнимающего собою весь бесконечный и разнообразный мир художественной деятельности во всех ее видах и изменениях! Давно ли «украшенное подражание природе» было краеугольным камнем эстетического уложения? Давно ли эта формула равнялась в своей глубокости, истине и непреложности первому пункту магометанского учения: «*Нет бога, кроме бога — и Муггамед пророк его?*» Давно ли три знаменитые единства почитались фундаментом, без которого поэма или драма была бы храминою, построеною на песке? Давно ли Корнель, Расин, Мольер, Буало, Лафонтен, Вольтер, давно ли эта чета талантов почиталась лучезарным созвездием поэтической славы, блистающим немерцающим светом для веков? Давно ли Буало, Батте и Лагарп почитались верховными жрецами критики, непогрешительными законодателями изящного, вещими оракулами, изрекавшими непрелож-

ные приговоры?.. А что геперь?.. «Украшенное подражание природе» и знаменитое «триединство» причислено к числу вековых заблуждений человечества, неудачных попыток ума; ученые и светские боги французского парнаса были помрачены и навсегда заслонены *пьяным дикарем*\* Шекспиром, а оракулы критики поступили в архив решенных и забытых дел. И давно ли все это совершилось?.. Давно ли бились насмерть покойники *классицизм* и *романтизм*?.. Где же, спрашиваю я, где же эта мерка, этот аршин, которым можно мерить изящные произведения; где этот масштаб, которым можно безошибочно измерять градусы их эстетического достоинства? Их нет — и вот как непрочны литературные кодексы! Как с постепенным ходом жизни народа изменяется его законодательство через отменение старых законов и введение новых, сообразно с современными требованиями общества, так изменяются и законы изящного с получением новых фактов, на которых они основываются. И разве мы получили все факты; разве мы изучили все литературы под этими бесчисленными национальными, вековыми и историческими физиономиями; разве мы исследовали жизнь каждого художника порознь? Разве, в этом отношении, для будущего уже ничего не остается?.. Нет — еще долго дожидаться полного и удовлетворительного кодекса искусств, так долго дожидаться этого совершенного гражданского законоположения, которое должно осуществить мечты о золотом веке Астреи. Стало быть, нет законов изящного, по которым можно и должно судить произведения искусств? Есть: потому что, если теперь не вполне постигнут весь мир изящного, то уже известны многие из его законов, известны самые его основания; но будущему времени предоставлено открыть существующие отношения между этими законами и основаниями и привести их в полную и гармоническую систему. Критику должны быть известны *современные* понятия о творчестве; иначе он не может и не имеет права ни о чем судить.

Но этого еще мало. Часто случается, что критик, изложивши свой взгляд на условия творчества сообразно с современными понятиями об этом предмете, прилагает его ложно и, верно описавши характер греческого ваяния, показывает вам разбитый глиняный горшок, в котором варили щи, и божится и клянется, что это греческая ваза? Отчего это? Оттого, что эстетика не алгебра, что она, кроме ума и образованности, требует этой приемлемости изящного, которая составляет

---

\* В «Северной пчеле» обвиняют меня, между многими литературными преступлениями, в том, что я называю Шекспира *пьяным дикарем*. Стыжусь оправдываться в этом перед публикою, и только движимый состраданием к жалкому неведению «С. пчелы», объявляю сей за новость (для нее), что это выражение принадлежит Вольтеру, обокрадывавшему Шекспира, а мною оно употребляется в шутку. Бедная «Пчела», как много пустых вещей, недоступных для ее мушиной любознательности! (В. Б.)

своего рода талант и дается не всем. Прислушайтесь внимательнее к нашим литературным толкам и суждениям — и вы согласитесь со мною. Разве у нас нет людей, с умом, образованием, знакомых с иностранными литературами, и которые, несмотря на все это, от души убеждены, что Жуковский выше Пушкина; которые иногда восхищаются восьмикопеечными стихотворениями и талантами гг. А. Б. С. и т. д.? Отчего это? Оттого, что эти люди часто руководствуются в своих суждениях одним умом, без всякого участия со стороны чувства; оттого, что принимают за поэзию свои любимые мысли или видят удобный случай приложить и оправдать свои собственные мысли об изящном; а эти мысли часто бывают парадоксами и предрассудками. В предметах человеческого чувства ум без чувства всегда ведет за собой предрассудки и строит парадоксы. Ум очень самолюбив и упрямо доверчив к себе; он создал систему и лучше решится уничтожить здравый смысл, нежели отказаться от нее; он гнет все под свою систему, и что не подходит под нее, то ломает. В этом случае он похож на мольеровых лекарей, которые говорили, что они лучше решатся уморить больного, чем отступить хоть на иоту от предписаний Древних. В деле изящного суждение тогда только может быть правильно, когда ум и чувство находятся в совершенной гармонии. И вот отчего такая разноголосица в суждениях о литературных сочинениях. В самом деле: одному нравятся «Цыгане» Пушкина и не нравится сказка о Бове Короловиче, а другой в восхищении от Бовы Короловича и не видит ни малейшего достоинства в «Цыганах» Пушкина. Кто из них прав, кто виноват? Говоря собственно, они оба совершенно правы: суждение того и другого основано на чувстве, и никакая эстетика, никакая критика не может быть посредницей в этом деле. Да! тонкое поэтическое чувство, глубокая приемлемость впечатлений изящного — вот что должно составлять первое условие способности к критизму, вот посредством чего с первого взгляда можно отличать поддельное вдохновение от истинного, риторические вычурь от выражения чувства, галантейную работу форм от дыхания эстетической жизни, и только вот при чем сильный ум, обширная ученость, высокая образованность имеют свой смысл и свою важность. В противном случае изучите все языки земного шара, от китайского до самоедского, изучите все литературы, от санскритской до чухонской, — вы все будете метить невпопад, говорить некстати, пропускать мимо глаз словов и приходить в восторг от букашек. Разве тяжелая «Россияда» не подходила под эстетические законы доброго старого времени; разве скучный и водяный «Димитрий Самозванец» г. Булгарина не отличается общего манерою и замашками исторического романа? Разве в свое время трудно было доказать художественное достоинство того и другого произведения эстетическими правилами двух эпох

времени, то есть семидесятых годов прошлого, и двадцатых текущего столетия? О, нет ничего легче! Но вот что очень было трудно: спасти их от чахоточной смерти. Вот отчего так часто бывают неудачны попытки иных высокоученых, но лишенных эстетического чувства, критиков уронить истинный талант, не подходящий под их школьную мерку и возвысить мишурного фразера<sup>141</sup>.

У нас еще и теперь тайна искусства есть истинная тайна, в буквальном смысле этого слова, для многих людей, посвящающих себя этому искусству или по влечению, или *ex officio*, или от нечего делать. Цветистая фраза, новая манера — и вот уже готов поэтический венок из *калуфера* и *мяты*, нынче зеленеющий, а завтра желтеющий. Цветистая фраза принимается за мысль, за чувство, новая манера и стихотворные гримасы — за оригинальность и самобытность. Помните ли вы остроумный аполог, рассказанный в одном нашем журнале, как *человек с умом на три страницы*<sup>142</sup> хотел от скуки бросить лавровый венок поэта первому прошедшему мимо его окна, и как он бросил его через форточку бездарному стихотворцу, который на этот раз проходил мимо окошка человека с умом на три страницы?.. Вот вам объяснение, почему в нашей литературе бездна самых огромных авторитетов. И хорошо еще, если человек то, раздающий поэтические венки, точно с умом хоть на три страницы: тут нет еще большого зла, потому что он может, одумавшись или рассердившись на свое неблагодарное создание, уничтожить его так же легко, как он его и создал, чему у нас и бывали примеры. Это даже может быть и забавно, если сделано умно и ловко. Но вот эти добрые и *безнаветные* критики, которые, в сердечной простоте своей, не шутя принимают русский горох за эллинские цветы, северный чертополох и крапиву за райские крины: они-то истинно и вредны. Души добрые и честные, приобретя когда-то и как-то какое-нибудь влияние на общественное мнение, они добродушно обманывают самих себя и невинно вводят и других в обман.

«Но что ж в этом худого?» Может быть, спросят иные. О, очень много худого, милостивые государи! Если превознесенный поэт есть человек с душою и сердцем, то неужели не грустно думать, что он должен ити не по своей дороге, сделяться записным фразером и после мгновенного успеха, эфемерной славы видеть себя заживо похороненным, видеть себя жертвою литературного бесславия? Если это человек пустой, ничтожный, то неужели не досадно видеть глупое чванство литературного павлина, видеть незаслуженный успех и, так как нет глупца, который не нашел бы глупее себя, видеть нелепое удивление добрых людей, которые, может быть, не лишены некоторого вкуса, но которых не смеют иметь своего суждения? А святость искусства, унижаемого бездарностию?.. Мило-

стивые государи! если вам понятно чувство любви к истине, чувство уважения к какому-нибудь задушевному предмету, то будете ли вы осуждать порыв человека, который иногда к своему вреду вызывает на себя и мщение самолюбий и общественное мнение, имея полное право *не вмешиваться*, как говорится на святой Руси, *не в свое дело?*.. Должен ли этот человек оскорбляться или пугаться того, что люди посредственные, холодные к делу истины, лишенные огня Прометея, провозгласят его *крикуном* или *ругателем*? Вам понятно ли это чувство? Вам понятна ли эта запальчивость, для вас справедлива ли она в самой своей несправедливости?.. А понимаете ли вы блаженство взбесить жалкую посредственность, расшевелить мелочное самолюбие, возбудить к себе ненависть ненавистного, злобу злого?.. «Но какая же изо всего этого польза?» А общественный вкус к изящному, а здравые понятия об искусстве? «Но уверены ли вы, что ваше дело направлять общественный вкус к изящному и распространять здравые понятия об искусстве; уверены ли вы, что ваши понятия здравы, вкус верен?» Так, я знаю, что тот был бы смешон и жалок, кто бы стал уверять в своем превосходстве других; но, во-первых, веци познаются по сравнению и дела других заставляют иногда человека приниматься самому за эти дела; во-вторых, если каждый из нас будет говорить: *«да мое ли это дело, да где мне, да куда мне, да что я за высокочка!»* то никто ничего не будет делать. Гадок наглый самохвал; но не менее гадок и человек без всякого сознания какой-нибудь силы, какого-нибудь достоинства. Я терпеть не могу ни Скалозубов, ни Молчалиных.

Я слишком хорошо знаю наш литературный мир, наши литературные отношения, и потому почти каждая новая книга возбуждает во мне такие думы и ведет к таким размышлениям, какие она не во всех возбуждает, и вот почему у меня вступление или мысли à propos почти всегда составляют главную и самую большую часть моих рецензий. К числу таких книг принадлежат стихотворения г. Бенедиктова; они возбудили в моей душе множество элегий, до которых я большой охотник; но обстоятельства, сопровождавшие ее появление, и безотчетные крики, встретившие ее, только один заставили меня взяться за перо. Правда, стихотворения г. Бенедиктова не принадлежат к числу этих дюжинных и бездарных произведений, которыми теперь особенно наводняется наша литература; напротив, в этой печальной пустоте они обращают на себя невольное внимание и с первого взгляда легко могут показаться чем-то совершенно выходящим из круга обыкновенных явлений. Но это-то самое и заставляет рецензента, отложив в сторону пошлые говорки и окличностей, прямо и резко высказать о них свое мнение. Это будет не критика, а отзыв, простое мнение или, как говорят, рецензия, потому что

тут критике нечего делать. Дело коротко, просто и ясно, а вопрос более о разных обстоятельствах, касающихся дела, нежели о самом деле.

Я сказал, что стихотворения г. Бенедиктова обращают на себя невольное внимание: прибавлю, что это происходит не столько от их независимого достоинства, сколько от различных отношений. В самом деле, много ли надо таланта, чтобы обратить на себя внимание *стихами* в наше прозаическое время? Кроме того, стихотворения г. Бенедиктова обнаруживают в нем человека со вкусом, человека, который умеет всему придать колорит поэзии; иногда обнаруживают превосходного версификатора, удачного описателя; но вместе с тем в них видна эта детскость силы, эта беспрестанная невыдержанность мысли, стиха, самого языка, которые обнаруживают отсутствие чувства, фантазии, а следовательно, и поэзии. Сказавши, надо доказать, и я не вижу для этого никакого другого средства, кроме анализа и сравнения.

Кажется, в наше время никто не должен сомневаться в том, что в истинно художественном произведении не может быть погрешностей и недостатков, как думают школяры и люди посредственные. Что создано фантазией, а не холодным умом, то всегда истинно, верно и прекрасно; погрешности же там, где фантазия уступает свое место уму и ум работает без участия чувства, по источникам изобретения. В романе, в драме, словом, во всяком большом сочинении, недостатки едва ли избежны, потому что поэту надо иметь слишком гигантскую фантазию, чтоб не допустить никакого влияния со стороны ума, расчета, труда. Но лирическое сочинение есть плод мгновенной вспышки фантазии, мгновенное излияние чувства; следовательно, в нем всякое неестественное или вычурное выражение, всякий прозаический стих обличает недостаток фантазии. Я никак не умею понять, что за поэт тот, у кого недостанет фантазии на 20 или на 40 стихов, кто с *стихами* вдохновенными мешает стихи деланные. Как в романе или драме невыдержанность характеров, неестественность положений, неправдоподобность событий обличают работу, а не творчество, так в лиризме неправильный язык, яркая фигура, цветистая фраза, неточность выражения, изысканность слога обличают ту же самую работу. Простота языка не может служить исключительным и необманчивым признаком поэзии; но изысканность выражения всегда может служить верным признаком отсутствия поэзии. Стих, переложенный в прозу и обращающийся от этой операции в натяжку, так же как и темные, затейливые мысли, разложенные на чистые понятия и теряющие от этого всякий смысл, обличает одну риторическую шумиху, набор общих мест. Я представлю вам теперь несколько фраз из большей части стихотворений г. Бенедиктова, обращенных мною в прозаические выражения, со всей добросовестностью,

без малейшего искажения — и сделаю вам несколько вопросов, поставив судьею в этом деле ваш собственный здравый смысл.

— Юноша сорвал розу и украсил этою *пламенною жатвою* чело девы. — Вы были ли, прекрасные дни, когда *сверкали одни веселья*; небесные звезды очами судей взирали на землю с лазурного свода (?); милая дикость равняла людей (!)! — Любовь не гнездилась в *ущельях сердец*, но, повсюду раскрыта и *сверкая всем в очи* (?), надевала на мир всеобщий венец. — Дева, у которой уста кокетствуют улыбкою, изобличается гибкий стан и все, что дано прихотям, то украшено резцом любви (?!!). — Ребенок (на пожаре) простирает свои ручонки к жалам неистовых огненных змей (то есть к огню). — Перед завистливою толпою я вносила твой стан, на огненной ладони, в *вихрь* кружения (то есть вальсировал с тобою). — Струи времени возрастили *мох забвения на развалинах любви* (!!..). — В твоем гибком, эфирном стане я утоплял горящую ладонь. — За жизненным концом (!!) есть лучший мир — там я *обручусь с тобою кольцом вечности*. — Любовь преломлялась, блестела цветными огнями *сердечного неба*. — Чудная дева *магнитными прелестями* влекла к себе *железные сердца*. — К тому приникнуть головою, где *растопить свинец несчастия*. — Фантазия вдувает рассудку свой сладкий дым. — Море опоясалось мечом молний. — Солнце воинило в дождевые капли пламя своего луча. В черных глазах Адели могила бесстрастия и колыбель *блаженства*. — Искра души прихотливо подлетела к паре черненьких глаз и умильно посмотрела в окна своей храмины. — Матильда, сидя на жеребце (!!), гордится красивым и *плотным* *усестом*, а жеребец под девою *топчется*, хранил и пляшет. — Грудь станет свинцовым гробом, и в нем ляжет прах моей любви. — Конь понесет меня здаль на *молниях отчаянного бега*. — Любовь есть капля меду на остром жале красоты. — Ее тихая мысль, зрея в светлом разуме, разгоралася искрою, а потом, оперенная словом, вылетала из ее уст *пленительным голубем*. — На первом жизни пире возникла посев греха. — Да не падет на *пламя красоты морозный пар бесстрастного дыханья*. — Могучею рукою вонзить сталь правды в шипучее (?) сердце порока. — Его рука перевила лукавою змеею стан молодой девы, вползла на грудь и на груди уснула. —

Что это такое? неужели поэзия, неужели вдохновение, юное, кипучее, тревожное, пламенное, полное глубины мысли?.. И столько фраз на каких-нибудь *ста шагах* страницах, или *пятидесяти трех листках*!. В четырех частях мелких стихотворений Пушкина, хороших и дурных, в трех частях поэм, заключается около *двух тысяч* страниц: найдите же мне хоть пять таких выражений \*, и я позволю печатно назвать себя клеветником, ругателем, человеком, ничего не смыслящим в деле искусства! Но я дурно и, может быть, недобросовестно поступил, указав на Пушкина: прошу извинения у великого

\* Боюсь только четвертой части, которой еще не видал и за которую поэту не отвечаю.

поэта и у публики. Возьмите Жуковского, возьмите даже Козлова, Языкова, Туманского, Баратынского — найдите у всех них хоть половинное число таких вычур — и я сознаюсь побежденным. Вы скажете: «Это не доказательство: это обнаруживает только невыработанный талант, не укрепившееся перо, словом, литературную неопытность», хорошо, но вы, милостивые государи, как понимаете искусство? Неужели ему можно выучиться, пользуясь беспристрастными и благородными замечаниями опытных писателей? Талант может зресть не от навыка, не от выучки, но от опыта жизни; а лета и опыт жизни могут возвысить взгляд поэта на жизнь и природу, могут со-редоточить его энергию и пламень чувства, но не усилить их, могут придать глубину его мысли, но не сделать ее живее и тревожнее. А когда, как не в первой молодости художника чувство его бывает живее и пламеннее, фантазия игривее и радужнее? А где, как не в первых произведениях поэта кипит и горит и колышется бурною волною его свежее чувство? Следовательно, какие же, как не первые его произведения, более верны, истинны, не натянуты, живы, вдохновенны, чужды вычур и гримас риторических?.. Помните ли вы юного поэта Веневитинова? Посмотрите, какая у него точность и простота в выражении, как у него всякое слово на своем месте, каждая рифма свободна и каждый стих рождает другой без принуждения? Разве он обдумывал или обделявал свои поэтические думы? То ли мы видим у г. Бенедиктова? Посмотрите, как неудачны его нововведения, его изобретения, как неточны его слова? Человек у него витает в рощах; волны грудей у него превращаются в *грудные волны*; камень лопает (вм. лопаётся); преклоняется к заплечью красавицы, сидящей в креслах; степь беспредметна; стоит безглаголен; сердце пляшет; солнце сентябрьское; волы лизут пяты утеса; пирная роскошь и веселье; прелестная сердцегубка и пр. Такие фразы и ошибки против языка и здравого смысла никогда не могут быть ошибками вдохновения: это ошибки ума, и только в одной персидской поэзии могут они составлять красоту.

Где-то было сказано, что в стихотворениях г. Бенедиктова владычество мысль<sup>148</sup>: мы этого не видим. Г. Бенедиктов воспевает все, что воспевают молодые люди: красавиц, горе и радости жизни; где же он хочет выразить мысль, то или бывает слишком темен, или становится холодным ритором. Вот пример:

#### УТЕС

Отсюду объятый равниною моря,  
Утес гордо высится, — мрачен, суров,  
Незыблем стоит он, в могуществе спора  
С прибоями волн и с напором веков.

*Валы только лежут могучего пяты.  
От времени только бразды вдоль чela;  
Мох серый ползет на широкие скаты, —  
Седая вершина престол для орла.*

Как в плащ исполин весь во мглу завернулся;  
Поник, будто в думах косматой главой;  
*Бесстрашно над морем всем стачом нагнулся  
И грозно повиснул над бездной морской;*  
Вы ждете — падет он, — не ждите паденья!  
Наклонно (?) он стал, чтобы сверху взирать  
На слабые волны с усмешкой презренья  
И смертного взоры отвагой пугать!

Он хладен, но жар в нем закован природный:  
Во дни чудодейства зиждительных сил  
Он силой огня — сын огня первородный —  
Из сердца земли мощно выдвинут был! —  
Взлетел и застыл он твердыней гранита.  
Ему не живителен солнечный луч;  
Для нег его грудь вековая закрыта;  
И дик и угрюм он: зато он могуч!  
Зато он неистовой радостью блещет.  
Как ветры помчаться в разгульный свой путь,  
Когда в него море бурунами хлещет  
И прыгает жадно гиганту на грудь. —  
Вот молнии пламя над ним засверкало,  
Перун свой удар ему в темя нанес —  
Что ж? — огненный змей изломил свое жало,  
И весь невредимый хохочет утес.

Скажите, что тут хорошего? Во-первых, тут не выдержанна метафора: сперва утес является покрытым только мхом, а потом уже *косматым*, то есть покрытым кустарником и даже деревьями; во-вторых, это не поэтическое воссоздание природы, а набор громких фраз; это не солнце, которое освещает и вместе согревает, а воздушный метеор, забавляющий человека своим ложным блеском, но не согревающий его. Очень понятно, что автор хотел выразить здесь идею величия в могуществе; но здесь идея не сливаются с формою; ее не чувствуешь, но только догадываешься о ней. Мицкевич, один из величайших мировых поэтов, хорошо понимал это великолепие и гиперболизм описаний, и потому в своих «Крымских сонетах» очень благородумно прикидывался правоверным музульманином; и в самом деле, это гиперболическое выражение удивления к Чатырдаху кажется очень естественным в устах поклонника Мугаммеда, сына Востока. Вообще, громкие, великолепные фразы еще не поэзия. При всем моем энтузиастическом удивлении к Пушкину, мне ничто не помешает видеть фразы, если они есть, даже и в таких его стихотворениях, в которых есть и ис-

тинная поэзия, и я, в первой половине его «Андрея Шенье» до того места, где поэт представляет Шенье говорящим, вижу фразы и декламацию. Вот, например, найдите мне стихотворение, в котором бы твердость и упругость языка, великолепие и картинность выражений были доведены до большего совершенства, как в следующем стихотворении:

Видал ли очи львицы гладной,  
Когда идет она на брань,  
Или с весельем ноготь хладный  
Вонзает в трепетную лань?  
Ты зрел гиену с лютым зевом,  
Когда грызет она затвор!  
Как раскален упорным гневом  
Ее окровавленный взор!  
Тебе случалось в мраке ночи,  
Во весь опор пустив коня,  
Внезапно волчьи встретить очи,  
Как два недвижные огня!  
Ты помнишь, как твой замер голос,  
Как потухал в крови огонь,  
Как подымался дыбом волос  
И подымался дыбом конь!  
Те очи — страшные явленья!  
Но видел я и тех страшней:  
Не позабыть душе моей  
Их рокового впечатленья!  
Из всех огней и всех отрав  
Огия тех взоров не составить  
И лишь безумно обесславить  
Наук всеведущий устав!  
От них все чувство каменеет,  
Их огнь и жжет и холодит;  
При мысли сердце вновь горит  
И стих, робея, ледеет.  
Моли всех ангелов вселенной,  
Чтоб в жизни не видать своей  
Неправой местью раздраженной  
Коварной женщины очей!

И между тем, спрашиваю вас, неужели это поэзия, а не стихотворная игрушка; неужели эти выражения вылились в вдохновенную минуту из души взволнованной, потрясенной, а не приbraneы и не придуманы в напряженном и неестественном состоянии духа; неужели это бессознательное излияние чувства, а не набор фраз, написанных на тему, заданную умом?.. И вглядитесь пристальное в этот фальшивый блеск поэзии: что вы найдете в нем? Одно уменье, навык, литературную опытность и вкус. Посмотрите, как искусно г. стихотворец

умел придать ложный колорит поэзии самым прозаическим выражениям, с семнадцатого стиха до двадцать пятого. Было время, когда подобные натяжки принимались за поэзию; но теперь — извините!

Обращаюсь к мысли. Я решительно нигде не нахожу ее у г. Бенедиктова. Что такое мысль в поэзии? Для удовлетворительного ответа на этот вопрос должно решить сперва, что такое чувство. Чувство, как самое этимологическое значение этого слова показывает, есть принадлежность нашего организма, нашей плоти, нашей крови. Чувство и чувственность разнятся между собою тем, что последнее есть телесное ощущение, произведенное в организме каким-нибудь материальным предметом; а первое есть тоже телесное ощущение, но только произведенное *мыслию*. И вот отчего человек, занимающийся какими-нибудь вычислениями или сухими мыслями, подносит руку ко лбу, и вот почему человек, потрясенный, взъяренный чувством, подносит руку к груди или сердцу, ибо в этой груди у него замирает дыхание, ибо эта грудь у него сжимается или расширяется и в ней делается или тепло или холодно, ибо это сердце у него и млеет, и трепещет, и порывисто бьется; и вот почему он отступает и дрожит и поднимает руки, ибо по всему его организму, от головы до ног, проходит огненный холод, и волосы становятся дыбом. Итак, очень понятно, что сочинение может быть с мыслию, но без чувства; и в таком случае, есть ли в нем поэзия? И наоборот, очень понятно, что сочинение, в котором есть чувство, не может быть без мысли. И естественно, что чем глубже чувство, тем глубже и мысль, и наоборот. «Вселенная бесконечна», говорю я вам: эта мысль велика и высока, но в этих словах еще не заключается художественного произведения, и не будет его, если бы я распространил эту мысль хоть на десяти страницах. Но «Die Grösse der Welt» \*, это стихотворение Шиллера, в котором облечена в поэтическую форму эта же самая мысль и которое так прекрасно, полно и верно передано на русский язык г. Шевыревым, дышит глубокой поэзиею, и в нем мысль уничтожается в чувстве, а чувство уничтожается в мысли; из этого взаимного уничтожения рождается высокая художественность. А отчего! Оттого, что эта мысль, родившись в голове поэта, дала, так сказать, толчок его организму, взъярнула и зажгла его кровь и зашевелилась в груди. Таков «Демон» Пушкина, это стихотворение, в котором так неизмеримо глубоко выражена идея *сомнения*, рано или поздно бывающего уделом всякого чувствующего и мыслящего существа; такова же его дивная «Сцена из Фауста», выражавшая почти ту же идею; таков его «Бахчисарайский фонтан», где, в лице Гирея, выражена мысль, что, чем шире и глубже душа человека, тем менее способен

---

\* «Величие мира». — Ред.

он удовлетворить себя чувственными наслаждениями; таковы его «Цыганы», где выражена идея, что пока человек не убьет своего эгоизма, своих личных страстей, до тех пор он не найдет для себя на земле истинной свободы ни посреди цивилизации, ни в таборах кочующих детей вольности\*. Я не говорю о других его произведениях, я не говорю о его «Онегине», этом создании великом и бессмертном, где что стих, то мысль, потому что в нем что стих, то чувство.

Увы! на жизненных браздах  
Мгновенной жатвой, поколенья  
По тайной волне провиденья,  
Восходят, зреют и падут;  
Другие им во след идут...  
Так наше ветреное племя  
Растет, волнуется, кипит  
И к гробу прадедов теснит.  
Придет, придет и наше время,  
И наши внуки в добрый час  
Из мира вытеснят и нас!

или:

Но грустно думать, что напрасно  
Была нам молодость дана,  
Что изменили сй всечасно,  
Что обманула нас она;  
Что наши лучшие желанья,  
Что наизи свежие мечтанья  
Истлели быстрой чередой,  
Как листья осенью гнилой!  
Несносно видеть пред собою  
Одних обедов длинный ряд,  
Глядеть на жизнь, как на обряд,  
И вслед за чинною толпою  
Итти, не разделяя с ней  
Ни общих мнений, ни страстей.

---

\* Вспомните эти слова отца Земфиры:

Ты *для себя* лишь хочешь воли.

Или эти стихи, которыми оканчивается эпилог:

Но счастья нет и между вами,  
Природы бедные сыны!  
И под издранными шатрами  
Живут мучительные сны!  
И ваши сени кочевые  
В пустынях не спаслись от бед,  
И всюду страсти роковые,  
И от судеб защиты нет!

Вот вам мысль в поэзии! Это не рассуждение, не описание, не силлогизм — это восторг, радость, грусть, тоска, отчаяние, вопль! Но мое любимое правило — *вещи познаются всего лучше чрез сравнение*; итак, возьмите стихотворение Жуковского «Русская слава» и стихотворение Пушкина «Клеветникам России», сравните их; или, лучше, противопоставьте «Русской славе» эти немногие стихи из «Онегина»

Как часто в горестной разлуке,  
В моей блуждающей судьбе,  
Москва, я думал о тебе!  
Москва... как много в этом звуке  
Для сердца русского слилось!  
Как много в нем отзывалось!

Напрасно ждал Наполеон,  
Последним счастьем упосинный,  
Москвы коленопреклоненной,  
С ключами старого Кремля:  
Нет, не пошла Москва моя  
К нему с повинной головою.  
Не праздник, не приемный дар,  
Она готовила пожар  
Нетерпеливому герою.  
Отселе, в думу погружен,  
Глядел на грозный пламень он.

Тогда вы вполне поймете, что такое мысль в поэзии и что такое в ней чувство, и что одно без другого быть не может, если только данное сочинение художественно. Теперь укажите мне хоть на одно стихотворение г. Бенедиктова, которое бы заключало в себе мысль в изложенном значении, в котором бы эта мысль томила душу, теснила грудь; в котором были бы хотя один сильный, энергический стих, невольно западающий в память и никогда не оставляющий ее! «Полярная звезда» по красоте стихов — чудо: этому стихотворению можно противопоставить только «Ганимеда» г. Теплякова; но оно сбивается на описание, и я не вижу в нем никакой мысли; а это, не забудьте, единственное, по стихам, стихотворение г. Бенедиктова. Кстати об описаниях: описание — вот основной элемент стихотворений г. Бенедиктова; вот где старается он особенно выказать свой талант, и, в отношении ко внешней отделке, к прелести стиха, ему это часто удается. Но это все прекрасные формы, которым недостает души. В старину (которая, впрочем, очень недавно кончилась) все питали теплую веру в описательную поэзию, а староверы, всегда верные старопечатным книгам и стародавним преданиям, и теперь еще признают су-

ществование описательной поэзии. Об этом спорить нечего — вопрос давно решенный! Описательной поэзии нет и быть не может как отдельного вида, в котором бы проявлялось изящное; но описательная поэзия может быть везде в частях и подробностях. Описание красот природы создается, а не списывается; поэт из души своей воспроизводит картину природы или воссоздает виденную им; в том и другом случае эта красота выводится из души поэта, потому что картины природы не могут иметь красоты абсолютной; эта красота скрывается в душе, творящей или созерцающей их. Поэт одушевляет картину своим чувством, своею мыслию; надобно, чтобы он или любовался ею, или ужасался ее, если он хочет прельстить или ужаснуть нас ею. Картины Кавказа и таврических ночей у Пушкина пленительные, потому что он одушевил их своим чувством, потому что он рисовал их с этим упоснением, с которым юноша описывает красоту своей любезной. Может быть, увидя Кавказ и слича действительность с поэтическим представлением, вы не найдете никакого сходства: это очень естественно — все зависит от расположения нашего духа, потому что жизнь и красота природы таятся в сокровищнице души нашей; природа отражается в ней, как в зеркале: тускло зеркало, тусклы и картины природы, светло зеркало, светлы и картины природы. Я, право, не вижу почти никакого достоинства в описательных картинах г. Бенедиктова, потому что вижу в них одно усилие воображения, а не внутреннюю полноту жизни, все оживляющей собою. Вот, например, эта картина имеет свой смысл, потому что вышла прямо из души:

День угаснул — потемнели  
Воды, рощи и поля;  
Как младенец в колыбели,  
Спит прекрасная земля.  
Сон ее благовейно  
Добрый гений сторожит;  
Все так мирно, все молчит,  
Только ветер тиховейный  
В час, как дремлет дол и сад,  
Розмаринный и лилейный  
Переносит аромат.  
Вот и он — красавец ночи —  
Месяц по небу взошел,  
И на спящую навел  
Он серебряные очи.  
Реже сумрак, свет темней,  
И как будто из лучей  
Вдруг соткалось покрывало  
И на грудь земли упало.

О месяц, месяц, сколько раз  
Ты в небе весело сияешь,  
Но как же мало светлых глаз,  
Как много слез ты озаряешь!  
Тебя не тот с тоскою ждет,  
Кто не изведал с роком битвы,  
Кто благодарные молитвы  
За день свой ночью отдает!  
Но от восхода до заката  
Тот глаз не сводит от тебя,  
Чья жизнь утратами богата,  
Кто часто плакал про себя! \* и проч.

В стихотворениях г. Бенедиктова все не досказано, все неполно, все поверхностно, и это не потому, чтобы его талант еще не созрел; но потому, что он, очень хорошо понимая и чувствуя поэзию воспеваемых им предметов, не имеет этой силы фантазии, посредством которой всякое чувство высказывается полно и верно. У него нельзя отнять таланта стихотворческого; но он не поэт. Читая его стихотворения, очень ясно видишь, как они сделаны. Если г. Бенедиктов будет продолжать свои занятия по стихотворной части, то он со временем *выпишется*, овладеет поэзию выражения, выработает свой стих, не будет делать этих детских промахов, на которые я указал выше; словом, будет писать так же хорошо, как г. Трилунный, г. Шевырев, г. М. Дмитриев, но едва ли когда-нибудь будет он поэтом. Первые стихи поэта похожи на первую любовь: они живы, пламенны, естественны, чужды изысканности, вычурности, натяжек; но таковы ли первые стихи г. Бенедиктова? Дай бог, чтобы мое предсказание оказалось ложным и нелепым, чтобы мои основания, которыми я руководствовался в моем суждении, были опровергнуты фактом: мне было бы очень приятно обмануться таким образом! Но до тех пор, пока это не сбудется, я останусь тверд в своем мнении, которое не есть следствие личности или каких-нибудь расчетов, но следствие любви к истине. В заключение скажу, что как ни неестественно обмануться стихами г. Бенедиктова, но изданная им книжка в наше прозаическое время многими может быть принята за поэзию. Словом, если г. Бенедиктов не оставит своих стихотворных занятий, он скоро приобретет себе большой авторитет; его стихи будут приниматься с радостью во всех журналах, во многих будут расхваливаться по крайней мере года два: а что будет после?.. То же, что стало теперь с стихотворцами, которых так много было в прошлом десятилетии и из которых многие обладали талантом повыше г. Бенедиктова... Увы! что делать! Река времени все уносит, все

---

\* Из «Борского», поэмы г. Подолинского.

истребляет, и немного, очень немного всплывает на ее сокрушительных волнах!..

Многие из стихотворений г. Бенедиктова очень милы, как весьма справедливо замечено в одном журнале. Их с удовольствием можно прочесть от нечего делать; они не дадут душе поэтического наслаждения, но и не оскорбят, не возмутят ее безвкусием или нелепостию; некоторые даже будут приятны для читателя, как апельсин в летний день или чашка кофе после обеда. Зато есть (хотя и очень немного) и такие, которых бы решительно не следовало печатать. Такова «Наздница»; мы не выписываем его, потому что наша цель доказать истину, а не повредить автору. У кого есть в душе хоть искра эстетического вкуса, а в голове хоть капля здравого смыслю, тот, верно, согласится с нами. Мы не требуем от поэта нравственности; но мы вправе требовать от него грации в самых его шалостях; и, под этим условием, мы ни одного стихотворения г. Языкова не почитаем безнравственным, и, под этим же условием, мы почитаем упомянутое стихотворение г. Бенедиктова очень неблагопристойным, и сверх того видим в нем решительное отсутствие всякого вкуса<sup>144</sup>. То же можно сказать и обо многих местах некоторых других его стихотворений. Мы очень рады, что этот факт может служить подтверждением истины, всеми признанной, что *только один истинный талант может быть нравственным в своих произведениях*. В поэтических шалостях *грация* — великое дело, потому что без нее эти шалости могут показаться отвратительными; а эта грация есть удел одного вдохновения. Мы сказали, что некоторые стихотворения г. Бенедиктова очень милы как поэтические игрушки: такими почитаем мы «К Полярной звезде», «Озеро», «Прощание с саблею», «Ореллан», «Незабвенная», «К Н — му», но особенно нам понравилось «Два видения», которое выписываем здесь вполне.

Я дважды любил: две волшебницы-девы  
Сияли мне в жизни средь божьих чудес;  
Они мне внушали живые напевы,  
Знакомили душу с блаженством небес.  
Одну я любил, как слезою печали  
Ланита прекрасной была нажжена;  
Другую, когда ее очи блистали  
И сладко, роскошно смеялась она.  
Исчезло, чем прежде я был разволнован,  
Но след волнованья остался во мне;  
Доныне их образ чудесный закован  
На сердце жлезном в грудной глубине.  
Когда ж я в глубоком тону размышлены  
О темном значеньи грядущего дня, —

Незапно меня посещает виденье  
Одной из двух дев, чаровавших меня.

И первой любви моей дева приходит,  
Как ангел скорбящий, бледна и грустна,  
И влажные очи на небо возводит,  
И к персям, тоскою разбитым, она  
Крестом прижимает лилейные руки;  
Каштановый волос струями разлит...  
Явление девы, исполненной муки,  
Мне день благодатный в грядущем сулит.

Когда ж мне является дева другая,  
Черты ее буйным весельем горят,  
Глаза ее рыщут, как пламя, сверкая,  
Уста, напрягаясь, как струны, дрожат, --  
И дева та дико, безумно хохочет,  
Колышась, ее надрывается грудь:  
И это виденье мне горе пророчит,  
*Падение терний на жизненный путь.*

Пред лаской судьбы и грозой ее гнева  
Одна из предвестниц всегда прилетит;  
Но редко мне видится первая дева, --  
Последняя часто мне смехом гремит:  
И в жизни я вижу не многие розы,  
Помногу блуждаю в тернистых путях:  
Но в радостях редких даются мне слезы,  
При частых страданьях есть хохот в устах.

Мы думаем, что это стихотворение может служить лучшим доказательством нашего мнения вообще о стихотворениях г. Бенедиктова.

## СТИХОТВОРЕНИЯ ВЛАДИМИРА БЕНЕДИКТОВА

«Телескоп», ч. XXVII, стр. 357—397 (ценз. разр. 24 ноября 1835). Подпись:  
В. Белинский.

Статья о стихотворениях Бенедиктова — блестящий образец высокой принципиальности Белинского, одним ударом разрушившего авторитет прославленного всеми журналами поэта.

«Появление стихотворений Бенедиктова, — вспоминал впоследствии И. И. Панаев, — произвело страшный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире. И литераторы и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова. О статьях Полевого и Белинского они отзывались с негодованием и были очень довольны статьею профессора Шевырева, провозгласившего Бенедиктова поэтом мысли. Жуковский,

говорят, до того был поражен и восхищен книжечкою Бенедиктова, что несколько дней сряду не расставался с нею и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками. Один Пушкин остался хладнокровным, прочитав Бенедиктова, и на вопросы: какого он мнения о новом поэте? ответил, что у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей; к этому он ничего не прибавил более...» («Лiterатурные воспоминания», 1928, стр. 116).

Другой мемуарист из ближайшего окружения Белинского, И. С. Тургенев, так передает свои впечатления от статьи Белинского: «Стихотворения Бенедиктова появились в 1836 году (это было уже второе издание) маленькой книжечкой с неизбежной виньеткой на заглавном листе — как теперь ее вижу — и привело в восхищение все общество, всех литераторов, критиков — всю молодежь. И я не хуже других упивался этими стихотворениями, знал многие наизусть, восторгался «Утесом», «Горами» и даже «Матильдой» на жеребце, гордившейся «усестом красивым и плотным». Вот в одно утро зашел ко мне студент товарищ и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Беранже появился номер «Телескопа» со статьей Белинского, в которой этот «критикан» осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно отправился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски — и, разумеется, также воспыпал негодованием. Но — странное дело и во время чтения и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с «критиканом», находило его доводы убедительными... не-отразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданного впечатления, я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье... но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что он был прав... Прошло несколько времени — и я уже не читал Бенедиктова» («В. Г. Белинский в воспоминаниях современников», 1929, стр. 206).

Статья Белинского появилась в момент разгоревшихся споров по вопросам современной лирики, в атмосфере все нарастающей полемики с «Московским наблюдателем». Тема лирики была поставлена в статьях Белинского о Баратынском, Бенедиктове, Кольцове, в иронической заметке о «проподической реформе» Шевырева, в пародиях Еврипидина (К. Аксакова) и в примечаниях к ним Белинского. Все они помещены в XXVII части «Телескопа».

В годы, когда и в лирике Пушкина, и в прозе Гоголя все полнее и богаче раскрывался реалистический метод, Шевырев провозгласил именно Бенедиктова «поэтом мысли». Пушкин же, в трактовке Шевырева, оказывался поэтом форм, описания, пластики, а не мысли и содержания. Этим объясняется то, что в своем ответе Шевыреву (каковым в значительной степени является настоящая статья) Белинский, несмотря на заведомую несоизмеримость Бенедиктова и Пушкина, настойчиво проводит сравнение между ними.

Так как Шевырев и его единомышленники считали себя поборниками «философической поэзии», поэзии «мысли», идеал которой они видели в звонких стихах Бенедиктова, то Белинский поставил перед собой задачу выяснить, что же представляет собою «мысль» в лирике, в частности в стихах Бенедиктова. В результате остроумных наблюдений, тонкого

пародийного пересказа стихотворений Бенедиктова ему удается раскрыть их крайнее убожество.

Критик с большой убедительностью показал, что в большинстве стихотворений Бенедиктова отсутствует не только глубокая «мысль», но даже и простой смысл. Пародия К. Аксакова на стихотворения Бенедиктова еще более раскрывали читателю схематизм его псевдофилософской лирики.

В то же время Белинский коснулся и положительного решения проблем подлинно философской лирики. В рецензии на мистерию «Ижорский» (1835) В. Кюхельбекера он делает предупреждение «нашим молодцам», которые начали «тормошить немецкую философию и кладь в основу своих изделий философические идеи». Они, заявляет критик, «не знали того, что мысль тогда только поэтична, когда проведена через чувство и облечена в форму действием фантазии, что в противном случае она есть пошлая, холодная бездушная аллегория».

Нераздельное слияние чувства и мысли — основная черта лирического произведения.

К Бенедиктову Белинский будет еще возвращаться время от времени, хотя пустота и бесодержательность его поэзии разоблачены уже в этой статье. В рецензии на издание стихотворений Бенедиктова в 1842 году критик даст более четкое определение социальной природы романтической лирики Бенедиктова: «...поэзия г. Бенедиктова, — писал Белинский, — не поэзия природы, или истории, или народа, — а поэзия средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга. Она вполне выразила их, с их любовью и любезностью, с их балами и светскостью, с их чувствами и понятиями, — словом, со всеми их особенностями, и выразила простодушно, восторженно, без всякой иронии, без всякой мрачной мысли» (Полн. собр. соч., т. VII, стр. 500).

<sup>140</sup> (Стр. 156). Из «Разговора книгопродавца с поэтом».

<sup>141</sup> (Стр. 159). Под «высокоученными» критиками имеется в виду Шевырев, пытавшийся снизить значение Гоголя.

<sup>142</sup> (Стр. 159). Речь идет о Сенковском, который отказался от своих неумеренных похвал Кукольнику за его драму «Торквато Тассо». Аполог рассказан самим Сенковским в «Библиотеке для чтения», 1835, № 8.

<sup>143</sup> (Стр. 163). «Поэтом мысли» Шевырев называл Бенедиктова в «Московском наблюдателе», 1835, август, кн. I, стр. 440, 443.

<sup>144</sup> (Стр. 171). Стихотворение «Наездница», которое Белинский, чтобы «не повредить автору», даже не цитировал, действительно является верхом безвкусицы.